

Г. М. ФРИДЛЕНДЕР

ДОСТОЕВСКИЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

1

Для того чтобы в наше время верно понять значение любого выдающегося явления классической литературы, мы должны оценивать его не только в свете жизненных вопросов той, уже прошлой для нас исторической эпохи, когда оно было создано, но и в свете всей позднейшей истории человечества, вплоть до сегодняшнего дня. Есть немало художников и произведений, восторженно принятых многими из их современников (а иногда и ближайших потомков!), слава которых оказалась более или менее быстротечной и которые сейчас не вызывают у нас уже того горячего интереса, который испытывали по отношению к ним их первые читатели и зрители. И наоборот, есть великие писатели, великие художники и мыслители, значение которых со временем не только не уменьшилось, но увеличивалось и даже по-настоящему раскрылось для человечества лишь в более широкой и сложной исторической перспективе нашего века. К числу таких писателей бесспорно принадлежит Достоевский. В спорах вокруг Достоевского и различных даваемых ему истолкованиях непосредственно отражается борьба основных общественных сил и идеологических направлений современности.

Достоевский не мог пожаловаться на равнодушие к себе литературы и критики уже своего времени. По одному первому его произведению, глубоко им истолкованному, Белинский верно угадал общие масштабы его дарования — пример критической проницательности, каких мы немного знаем в истории всей мировой литературы. Однако тогда, когда Достоевский создавал одно за другим свои величайшие произведения, после смерти Белинского и Добролюбова, его взаимоотношения как писателя с мыслящими современниками приобрели более драматический характер. Было бы неверно объяснять это только социально-политическими,

идеологическими расхождениями Достоевского с передовым лагерем, как это нередко делается. Дело обстоит сложнее. Не только почвенническая общественно-политическая утопия Достоевского, во многом туманная, реакционная и противоречивая, но и создававшиеся им художественные картины, даже самый метод его художественного мышления вызывали у читателей 1870—1880-х годов известное сопротивление, вели ко множеству недоуменных вопросов.

Мир, нарисованный уже в «Преступлении и наказании», а в еще большей степени в «Идиоте», в «Бесах», «Подростке», «Братьях Карамазовых», казался многим современникам писателя, а затем и первым его ценителям за рубежом искусственным и фантастическим, характеры, нарисованные в этих романах, — исключительными, нарочито взвинченными и неправдоподобными, композиция произведений русского романиста — хаотической и неясной. Н. К. Михайловский, в известной статье которого «Жестокий талант» (1882) отражены многие из подобных недоумений, упрекал Достоевского в нарочитой жестокости, из-за которой он подвергает своих героев, а вместе с ними и читателя, ненужным мучениям. Произведения Достоевского представлялись многим его истолкователям в 1880-х годах всего лишь блестящими психологическими штудиями различных сложных случаев душевных болезней, ценными прежде всего со специальной — медицински-психиатрической или криминалистической — точки зрения. А М. де Вогюэ, автор известной книги «Русский роман» (1886), сделавший много для распространения в Западной Европе славы Достоевского и других русских романистов XIX в., видел значение «Идиота» и «Братьев Карамазовых» не столько в анализе социальных, нравственных и психологических проблем, порожденных общими условиями жизни человечества и имеющих широкое, общечеловеческое значение, сколько в отражении особых, незнакомых западному человеку метафизических свойств «русской души».

В настоящее время охарактеризованные только что попытки критики 1870—1880-х годов постигнуть смысл произведений Достоевского, определить их историческое место в развитии русской и мировой литературы представляются нам (и не могут не представляться) наивными и близорукими. История человечества за 90 лет, протекших после смерти Достоевского, внесла в них свои неумолимые поправки. И в свете ее уроков основные коллизии, воссозданные в романах и повестях Достоевским, воплощенные в них человеческие характеры и судьбы, предстали перед нами в ином свете, чем перед умственным взором тех критиков, которые имели возможность впервые обозреть весь его творческий путь в целом и пытались дать ему свою оценку.

Широко известны слова К. Маркса, произнесенные им на юбилее чартистской газеты «The People's Paper» 14 апреля

1856 г. в то время, когда Достоевский, недавно отбывший срок каторги за участие в деле петрашевцев, проходил унтер-офицерскую службу в Семипалатинске.

Так называемые европейские революции 1848 года «были лишь мелкими эпизодами, незначительными трещинами и щелями в твердой коре европейского общества. Но они вскрыли под ней бездну...

В наше время все как бы чревато своей противоположностью... Победы техники как бы куплены ценой моральной деградации. Кажется, что, по мере того как человечество подчиняет себе природу, человек становится рабом других людей либо же рабом своей собственной подлости. Даже чистый свет науки не может, по-видимому, сиять иначе, как только на мрачном фоне невежества. Все наши открытия и весь наш прогресс как бы приводят к тому, что материальные силы наделяются интеллектуальной жизнью, а человеческая жизнь, лишенная своей интеллектуальной стороны, низводится до степени простой материальной силы».¹

В этих словах пронизательно отмечены многие из тех трагических черт, которые были объективно присущи эпохе Достоевского, но которые далеко не полно и не всегда осознавались его современниками в России и на Западе. И характерно, что, анализируя ее основные черты, Маркс говорил в 1856 г. о «признаках упадка, далеко превосходящих все ужасы последних времен Римской империи». Это определение во многом совпадает с диагнозом Достоевского, не раз прибегавшего при оценке современной ему ступени развития цивилизации к тому же сравнению (которым пользовался, впрочем, не один Достоевский, но и Герцен, и Чернышевский, и другие русские люди 50—60-х годов). Вспомним статьи Достоевского об «Египетских ночах» Пушкина или характеристику Федора Павловича Карамазова в его последнем романе!

Достоевский жил в переходную эпоху, трагический смысл которой не угадывался большинством людей того времени. Нужен был талант, равный Шекспиру, чтобы ощутить и адекватно выразить на языке искусства трагические черты, свойственные той эпохе. Особые свойства таланта Достоевского, его, отмеченные еще Белинским, чуткость к трагическим сторонам жизни и отзывчивость к человеческому страданию сделали русского писателя Шекспиром своего времени. В созданном им жанре романа-трагедии Достоевский воплотил для будущего с потрясающей силой многие трагические черты русской и западноевропейской жизни не только своей эпохи, но и последующих десятилетий.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 12, с. 3—4.

Немало исследователей Достоевского на Западе утверждают до сих пор, вслед за Мережковским, Бердяевым и другими русскими критиками начала XX в., идейно связанными с символистским движением, что центральные вопросы творчества Достоевского — вопросы метафизического порядка, решение которых будто бы не имеет никакого отношения к тому или иному решению вопросов социальной и политической жизни. Подобному — глубоко ошибочному — истолкованию противоречит все творчество великого русского романиста.

Как неоспоримо свидетельствуют романы и повести Достоевского, его внимание как человека и художника с первых шагов литературной деятельности и вплоть до конца жизни было обращено к центральным вопросам общественной жизни его эпохи. Общеизвестно, что Достоевский называл себя сам художником, одержимым «тоской по текущему», — все его романы были неизменно обращены к современности. И вместе с тем — современная ему «текущая» действительность рассматривалась Достоевским как критическая, переломная эпоха в жизни России и Европы, эпоха, подводящая итоги одной и служащая прологом другой, новой эпохи общественно-исторического и культурного развития.

Достоевский отнюдь не стоял на той точке зрения, модной в наше время среди философов общественной реакции и регресса, что история человечества не имеет единого общего направления, что она состоит из ряда повторяющихся, неизменных в своей основе явлений. Наоборот, Достоевский был горячо убежден, что основной смысл его эпохи состоит в «перерождении человеческого общества в совершеннейшее», т. е. в поисках путей и форм осуществления таких реальных, земных форм человеческого общежития, которые были бы основаны на справедливости и братстве. В этом отношении общественный идеал Достоевского, как верно понял осудивший его за это Константин Леонтьев, до конца жизни совпадал с общим идеалом социалистов и революционеров его и нашей эпохи, а не с воззрениями представителей тогдашней и современной реакции.

Достоевский не создал ни одного произведения на историческую тему, хотя, как мы знаем, он несколько раз задумывал такие произведения. Все его писательское внимание было отдано «текущей» действительности, ибо именно здесь, с точки зрения Достоевского, бился главный нерв человеческой истории, подводились итоги всему прошлому и определялись пути будущей жизни человечества.

Большой город, классическими романистами которого на Западе в XIX в. явились Бальзак и Диккенс, а в России — Достоевский, был для литературы не только новой темой в ряду других. Как гениально почувствовал каждый из названных великих ро-

манистов, новый уклад городской жизни, который возник в XIX в., оказал влияние на самые основы поэтической образности. Весь характер общественных отношений, темп и ритм человеческой жизни изменился под влиянием тех социально-экономических причин, которые Маркс и Энгельс охарактеризовали в «Манифесте Коммунистической партии». Не только в литературе, но и в самой действительности возникли новые измерения общественного бытия и человеческого сознания.

«Человек на поверхности земной не имеет права отвергаться и игнорировать то, что происходит на земле, и есть высшие *нравственные* причины на то», — писал Достоевский, защищая свой суровый реализм (П., II, 274). Вопреки Михайловскому, «жестоким» был не Достоевский, жестокой была, прежде всего, современная ему действительность, от которой великий русский романист не хотел отворачиваться. Историческая жизнь XX в. с двумя разрушительными мировыми войнами, массовыми уничтожениями беззащитного населения, гитлеровскими лагерями смерти и другими преступлениями имущих классов старого общества своей жестокостью превзошла самые страшные предвидения Достоевского.

Но Достоевский был не только новым Данте, не побоявшимся спуститься в самые мрачные, подземные круги ада души буржуазного человека и взявшего на себя изучение его нравственных язв. Чем более «фантастичен» и бесчеловечен окружающий человека мир, тем горячее, по убеждению Достоевского, в нем тоска человека по идеалу и тем более велик долг художника «найти в человеке человека», показать без всяких искусственных прикрас, «при полном реализме», не только господствующие в мире уродства и «хаос», но и скрытый в «душе человеческой» порыв к идеалу, стремление к «восстановлению погибшего человека, задавленного несправедливо гнетом обстоятельств, застоя веков и общественных предрассудков» (XIII, 526), как Достоевский писал в статье о «Соборе Парижской богородицы» В. Гюго.

Мир, изображаемый Достоевским, — это мир, где, по замечанию Ленина, относящемуся к пореформенной эпохе русской жизни, в различных слоях населения с особой силой проявился бурный подъем чувства личности.² В том царстве «мертвых душ», которое изображал Гоголь, отдельный человек был подавлен и обезличен, превращен существующим помещичьим и чиновничьим строем в простое колесико бюрократической машины, подобно Поприщину или Акакию Акакиевичу. Достоевский же еще в «Бедных людях» и других первых своих произведениях, как понял Добролюбов, изобразил пробуждение человеческой личности даже у самого обезличенного и обкраденного жизнью

² В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. I, с. 433,

«человека-ветошки». В романах и повестях Достоевского нет ни одного вполне пассивного и обезличенного человека, в котором так или иначе — пусть в изломанном и исковерканном виде — не проявилось бы «выламывающееся» из традиционных, сословных форм поведения и мышления личное начало. В сложный процесс неуспокоенности, движения и нравственных исканий у Достоевского втянуты студент Раскольников и маляр Миколка, «праведник» — князь Мышкин, «камелия» Настасья Филипповна и купеческий сын Рогожин, скептик Иван Карамазов, его брат «ранний человеколюбец» Алеша и подросток-«нигилист» Коля Красоткин.

Художественный мир Достоевского — это мир, который, так же как и сам его творец, — «весь борьба». Это мир мысли и напряженных исканий. Те же социальные обстоятельства, которые в эпоху буржуазной цивилизации разъединяют людей и порождают зло в их душах, активизируют, согласно диагнозу писателя, их сознание, толкают его героев на путь сопротивления, рождают у них стремление всесторонне осмыслить не только противоречия современной им эпохи, но и итоги и перспективы всей истории человечества, пробуждают их разум и совесть.

У Шекспира несходные персонажи — короли и шуты — каждый на своем особом языке, в соответствии с уровнем своих понятий, то возвышенно, то низменно выражают общее для людей той эпохи убеждение, что мир трагически «вывихнут» и нуждается в изменении. Так и у Достоевского внутренне активны, ощущают по-разному свое собственное «неблагообразие» и «неблагообразие» окружающего общества Мармеладов и Раскольников, Мышкин и Лебедев, Федор Павлович и Иван Карамазовы. Все эти герои — хотя и в разной степени — одарены совестью и сознанием, каждый по-своему умен и наблюдателен в меру своего практического и теоретического жизненного опыта и участвует в общем диалоге, затрагивающем и освещающем с разных сторон центральные, «больные» вопросы исторической жизни человечества, его прошлого и будущего.

Отсюда — острый интеллектуализм романов Достоевского, их насыщенность неуспокоенной, пытливой философской мыслью, столь близкие людям нашего времени и родственные лучшим образцам литературы XX в.

Достоевский сознавал, что повседневная будничная жизнь общества его эпохи рождает не только материальную нищету и бесправие. Она вызывает к жизни также, в качестве их необходимого духовного дополнения, различного рода фантастические «идеи» и идеологические иллюзии — «идеалы содомские» в мозгу людей, не менее гнетущие, давящие и кошмарные, чем внешняя сторона их жизни. Внимание Достоевского, художника и мыслителя, к этой сложной, «фантастической» стороне жизни большого города позволило ему соединить в своих повестях и романах скудные и точные картины повседневной, «прозаической», будничной

действительности с таким глубоким ощущением ее социального трагизма, такой философской масштабностью образов и силой проникновения в «глубины души человеческой», какие лишь редко встречаются в мировой литературе.

Но не только тема внутренней противоречивости, «иррациональности» внутреннего мира личности, живущей в обществе, вся повседневная жизнь которого подчинена неуловимым и безличным, темным законам, враждебным живому человеку, получила в творчестве Достоевского глубочайшее трагическое отражение. В них ярко выразилась и противоположная тенденция общественной жизни XIX и XX вв. — неизмеримо выросшая по сравнению с прошлыми временами роль идей в жизни общества.

Исследователи Достоевского, начиная с Б. М. Энгельгардта, много писали об особой роли и особой постановке «идеи» в его романах. Достоевский необычайно чутко, во многом пророчески, если учесть время, когда писались его романы, выразил выросшую на пороге XX века роль идей в общественной жизни. С идеями — по Достоевскому — нельзя шутить. Идеи — это тоже своего рода живые существа, одаренные кровью и плотью. Они могут быть благотворны, но могут стать и ядовитыми трихинами, разрушительной силой в жизни и отдельного человека, и общества в целом.

В своих романах Достоевский постоянно испытывал на прочность не только различные типы людей, но и распространенные в его время или рождавшиеся на его глазах системы идей. При этом, как писатель, бывший в молодости свидетелем крушения системы Гегеля, Достоевский разделяет тот скептицизм по отношению к возможностям довлеющей самой себе «абсолютной идеи», который по-разному проявился у всех выдающихся людей 1840—1860-х годов. Любые абстрактные идеи Достоевский всегда стремится проверить практикой жизни живого человека и больших человеческих масс. Романы Достоевского и являются, в сущности, каждый раз грандиозной художественной лабораторией, где испытываются на прочность различные социальные и философские идеи прошлого и настоящего и при этом выявляются не только их явные, но и скрытые потенции, их «pro» и «contra», их благотворность для человечества или их способность служить орудием зла в руках фанатика или «обманутого обманщика» — категория, к которой принадлежат многие из его трагических героев.

Поразительна смелость замысла «Жития великого грешника», где Достоевский намеревался свести в словесном поединке людей разных лагерей и эпох — Пушкина и Чаадаева, Тихона Задонского, Белинского и Грановского, современных ему религиозных «сектаторов» и атеистов. Этот грандиозный замысел напоминает скорее средневековую монументальную живопись и скульптуру, фрески и философские диалоги эпохи Возрождения, «Божествен-

ную комедию» Данте и «Афинскую школу» Рафаэля, чем романы большинства современников Достоевского в России и на Западе. И в то же время в нем, как в капле воды, отражается близость исканий Достоевского к художественному миру современности с присущей ему сложностью, сознанием относительности границ исторического времени и пространства.

3

Достоевский рано почувствовал под влиянием еще утопической по своему характеру социалистической мысли своей эпохи, что современная ему культура стоит на пороге великого исторического перелома, равного по своему значению крушению античной цивилизации, а может быть, и превосходящего его. Зачатки этой идеи, ставшей во многом определяющей для творчества великого русского писателя, можно уловить уже в тех тревожных размышлениях о грядущих судьбах Западной Европы, которые получили отражение в 1849 г. в показаниях Достоевского по делу петрашевцев. Но особенно отчетливо мысль об историческом рубеже, перед которым стоит старая цивилизация, возникла перед Достоевским после его возвращения с каторги.

В «Преступлении и наказании» Раскольников испытывает глубокое возмущение миром, символами которого ему представляются сладострастный помещик Свидригайлов, преследующий его сестру, и никому не нужная, одинаково отталкивающая физически и духовно ростовщица Алена Ивановна. Герой Достоевского хочет, в отличие от других, близких ему литературных героев — пушкинского Германна, Растиньяка, Жюльена Сореля — не столько изменить свое собственное положение и даже положение своей матери и сестры и других бедняков: Раскольников жаждет переменить весь существующий мировой порядок. Этот русский студент, исключенный из университета по бедности, хотел бы открыть для человечества новую, еще неизвестную эру. Именно в этом смысл утверждаемого Раскольниковым нового, как ему представляется, морального кодекса, признающего право отдельных, «необыкновенных людей», «властелинов судьбы» свободно, по своему праву способных «делать» историю, не останавливаясь перед кровью и злом.

Сознание необходимости коренного перелома в социальных и нравственных судьбах человечества, ощущение исчерпанности его прежних исторических путей, необходимости утверждения новых социальных и нравственных норм, которые бы сдвинули человеческое общество с мертвой точки, по-разному испытывают и выражают герои других романов Достоевского: Мышкин, Ипполит, Лебедев в «Идиоте»; Кириллов и Шатов в «Бесах»; Версиков в «Подростке»; старец Зосима, Дмитрий, Иван и Алексей Карамазовы в последнем романе писателя.

Особенно выразительна, может быть, в этом смысле фигура Кириллова, который хочет принести себя в жертву, чтобы разбудить спящее человечество и побудить его избрать новые пути. Раскольников полагал: для того, чтобы история открыла свою еще неизвестную страницу необыкновенным людям нужно отрешиться от традиционной морали и признать свое особое предназначение. Кириллов же верит, что достаточно человечеству победить страх смерти, и на земле начнется другая жизнь. И своим «идейным» самоубийством, как Раскольников своим «идейным» преступлением, он хочет показать окружающим людям пример победы над собой, — пример, который побудил бы их к пересмотру всех прежних, привычных нравственных ценностей и устоев.

Раскольников и Кириллов чувствуют себя стоящими на пороге новой исторической эры, в той нулевой точке, с которой должен начаться новый отсчет времени. Их заветное стремление — перешагнуть ее, совершить скачок из царства необходимости в царство свободы и указать в него дорогу всем, кто способен пойти вслед за ними. Но пути, которые указывают как названные, так и другие главные герои Достоевского, неизменно — об этом свидетельствует трезвый анализ автора — оказываются ошибочными, и поэтому, переходя от слов к делу, они переживают крах. В этом — трагический смысл историй, рассказанных Достоевским в каждом из его главных романов.

В своих произведениях Достоевский создал новый в литературе XIX в. тип трагического героя. Как герои античной трагедии или трагедии Шекспира, главные герои романов-трагедий Достоевского — люди незаурядные, одаренные глубоким сознанием и сильной волей. Все они — хотя и по-разному — глубоко мыслят о мире, сознают необходимость изменения своей и окружающей жизни и часто готовы ему содействовать. В то же время — и это также черта, роднящая главных героев Достоевского с героями классического эпоса и трагедии, — герои Достоевского *наивны*. Обычно в научной литературе о Достоевском эту черту связывают (вслед за самим автором) лишь с образом Мышкина. Но так же, как наивен до комизма не только Дон Кихот, но и трагически наивны — в отличие от Яго, Гонерильи и Реганы — Отелло и король Лир, так же наивны Раскольников, Кириллов, Шатов, в отличие от лишенных наивности, но потому и циничных, при всем своем уме, а потому и осужденных на бездействии Свидригайлова и Ставрогина. Наивность трагических героев Достоевского в том, что они до поры до времени полны доверия к своей идее и к своей способности ее «разрешить». Отсюда их желание осуществить искомое преобразование жизни в одиночку, своими силами, на собственный страх и риск. Подобно шекспировскому Гамлету почти каждый из героев Достоевского сознает, что распалась прежняя, устойчивая «связь времен». И несмотря на мучающие их порою (как и Гамлета) со-

мнения и колебания, Раскольников или Мышкин все же полны решимости сами, своими силами ее связать, ибо другого выхода из создавшегося положения они не видят. Лишь испив роковую чашу до дна, эти герои Достоевского на своем личном опыте убеждаются в трагической односторонности и неполноте своей «идеи». Но и испытав сознание своего поражения, они не стараются малодушно оправдать себя и переложить ответственность за свою вину на других. Как царь Эдип, Макбет или Отелло, они принимают вину на себя, сами казнят себя за нее покаянием, душевным расстройством или самоубийством.

После пребывания на каторге и знакомства с обитателями «мертвого дома» Достоевский отказывается верить, что человеческая масса представляет простой пассивный материал, всего лишь объект для «манипуляций» со стороны различного рода — пусть даже самых благородных и бескорыстных по своим целям — утопистов и «благодетелей человечества». Народ не мертвый рычаг для приложения сил отдельных, более развитых или «сильных» личностей, а самостоятельный организм, историческая сила, одаренная умом и высоким нравственным сознанием. И любая попытка навязать людям идеалы, не опирающиеся на глубинные слои сознания народа с его глубокой совестью, потребностью в общественной правде, заводит личность в порочный круг, казнит ее нравственной пыткой и муками совести — таков вывод, который Достоевский сделал из опыта поражения петрашевцев и западноевропейской революции 1848 года.

Основной недостаток многих даже из лучших работ об общественных взглядах Достоевского и об его этическом мировоззрении в том, что авторы этих работ, как правило, хотят дать на вопрос о смысле идей Достоевского однозначный, недialeктический ответ. Достоевский выглядит в их изображении либо верующим, либо атеистом, либо апостолом мятежа и разрушения, либо проповедником любви. Есть, правда, и третья, также распространенная точка зрения — что симпатии Достоевского раздваивались и что он в одинаковой мере был склонен к мятежу и смирению, колеблясь то в ту, то в другую сторону. Каждую из этих концепций легко подкрепить, как это и делается, немалым числом высказываний Достоевского. И тем не менее думается, что все они скорее затрагивают периферию мировоззрения писателя, чем указывают на подлинный его стержень.

Думается, сам Достоевский точнее, чем его исследователи, указал на тот основной вопрос, который оставался для него вопросом, альфой и омегой его исканий. И вопреки распространенному мнению, это был вопрос не религиозный или чисто этический, но общественно-исторический. Проблема «девяяти десятых человечества», проблема народа и его права на свое слово в истории — вот как Достоевский определял главное зерно своего мировоззрения. И определяя его так, он был более прав, чем те, кто

полагает, что главными для Достоевского были чисто моральные или религиозные проблемы.

В 1850-х годах в «мертвом доме» Достоевский столкнулся с тем, с чем на двадцать-тридцать лет позже столкнулись многие участники «хождения в народ» 1870—1880-х годов. Он пришел на каторгу, сознавая себя носителем идей обновления человечества, борцом за его освобождение. Но люди из народа, с которыми он столкнулся в остроге, не признали его своим, увидели в нем «барина», «чужого». Здесь — исток трагических общественных и нравственных исканий Достоевского.

Из нравственной коллизии, в которой оказался Достоевский, были возможны разные выходы. Один — тот, к которому склонились позднее народнические революционеры 1870-х годов. Главным двигателем истории они признали не народ, а критически мыслящую личность, которая должна своим активным действием и инициативой дать толчок мысли и воле народа, пробудить его от исторической апатии и спячки.

Достоевский извлек из той же коллизии иной, противоположный вывод. Его, мало задумывавшегося, как и другие дворянские революционеры, о народе до каторги, поразила не слабость народа, а присутствие в нем своей, особой силы и правды. Народ не «чистая доска», на которой интеллигенция имеет право писать свои письма. Народ не объект, а субъект истории. Он обладает своим слагавшимся веками мировоззрением, своим — выстраданным им — взглядом на вещи. Без чуткого, внимательного отношения к ним, без опоры на историческое и нравственное самосознание народа невозможно сколько-нибудь глубокое преобразование жизни. Таков тот глубоко выстраданный вывод, который стал краеугольным камнем мировоззрения Достоевского после каторги.

«Преклонение перед народной правдой», о которой писал Достоевский, не метафора, а подлинный стержень его мировоззрения, важный и для сегодняшнего дня. Именно отсюда вытекают и сильные и слабые стороны идей писателя. Достоевский преклонялся перед образом Христа не потому, что он был с детства религиозным человеком, как часто пишут в книгах о нем, а потому, что он считал, что в образе Христа, не в его официальном, церковном, а в его народном толковании, выражены вера народа, его идеал человеческой личности. Ненавидевший Николая I писатель был — как это не парадоксально — готов признать необходимость царя, ибо люди из народа, с которыми он сталкивался, были в большинстве своем настроены аполитично и разделяли веру в царя как народного заступника. Другими словами, народ, его нравственная и духовная жизнь, его порывы, его симпатии и антипатии — вот тот ориентир, которому Достоевский старался следовать и от которого зависели его общественная позиция и этический пафос. Писатель принял свои идеалы из рук народа

со всеми ошибками и заблуждениями тогдашней народной мысли.

Вот почему общественная и философская позиция Достоевского, вопреки распространенному мнению, не были всегда равны самим себе и не поддаются отвлеченному истолкованию по принципу: «да—да», «нет—нет». В подлинных взглядах Достоевского было значительно больше диалектической логики, чем это принято думать. В принципе Достоевский осуждал всякое насилие и всякое пролитие крови — и в этом он не расходился, как часто пишут на Западе, а сходиллся с социалистами и революционерами своей и нашей эпохи. Он видел один из главных пороков всей старой цивилизации в том, что она построена на крови и страданиях невинных людей, в том числе детей. Но когда народные массы России, по убеждению Достоевского, единодушно встали на поддержку южных славян в их вооруженной борьбе против турецкого ига, Достоевский приветствовал эту борьбу и признал ее священной. Это не было абстрактным противоречием во взглядах писателя и выражением его внутренних колебаний, но следствием верности его своему главному принципу — неколебимой ориентации на народ и его убеждения. И точно так же, как бы это не смущало многих поклонников Достоевского, он, будучи горячим, убежденным проповедником мира между народами, был готов признать устами своего «парадоксалиста», что в конкретных условиях буржуазной цивилизации мир нередко бывал не лучше, а «хуже» войны, ибо нес с собой исторический застой, свободу насилия богатого и сильного над слабым и угнетенным.

Народ в понимании Достоевского — это мужик Марей с его глубоким чувством справедливости. Но это и своеобразно истолкованный им некрасовский Влас, способный к стихийному бунтарству и к оскорблению традиционных святынь. Это маляр Миколка, желающий пострадать за «брата» по человечеству, но и протопоп Аввакум, да и вообще русский раскол с их фанатической преданностью своим убеждениям и готовностью их защищать. Это герой русско-турецкой войны солдат Фома Данилов и странник Макар Долгорукий, странничеством искупающий свои и чужие грехи и умирающий среди людей, ни один из которых не пойдет по его пути, хотя его искания и не будут ими забыты. Это — бабы, пришедшие на богомолье в монастырь, к старцу Зосиме, но и другие, стоящие у околицы погорелого села, — те крестьянские бабы, на лицах которых застыло выражение лишения, скорби и недоумения. И именно этот многоликий, но единый в основном и главном, в понимании писателя, коллективный образ стал для него компасом в его моральных исканиях и художественной работе.

Достоевский не видел в России 1860—1870-х годов революционного народа. Этим, в конечном счете, объясняются главные из противоречий его мировоззрения. Но важнее то, что он

исходил не из априорных метафизических и моральных построений, как большинство его сегодняшних отвлеченно-философских истолкователей, а из того конкретного опыта народной жизни и народных нравственных исканий, которые он наблюдал. В этом — живая основа его тревожного и действенного, а не созерцательного гуманизма.

Одной из самых типичных черт, свойственных различным направлениям современной идеалистической философии на Западе, является презрительное отношение к «массовому человеку». Исходя из верного признания факта огромного распространения в буржуазных странах в наши дни различного рода «массовой культуры» и суррогатов художественного творчества, оглуляющих и разлагающих массы, современные западные «критики культуры» изображают «девять десятых человечества» живущими безраздельно в мире «тап» (как говорят экзистенциалисты), т. е. в мире массового гипноза и «отчуждения», лишаящих «человека массы» способности к самостоятельной мысли и деятельности. Лишь отдельные одиночки способны, по убеждению большинства современных западных «властителей дум», освободиться от власти «тап», отбросить прочь покрывало Майи и обрести свободу духа, недоступную «массовому человеку». Так возрождается в наше время в различных странах в новых формах XX в. то роковое заблуждение, от которого Достоевский стремился предостеречь человечество еще 100 лет назад.

В отличие от тех из числа современных зарубежных «властителей дум», которые, принижая роль массы, народа, поднимают на ходули образ человека-одиночки, Достоевский был твердо убежден в противном: личность, которая смотрит на народ всего лишь как на пассивный объект, неспособна сдвинуть цивилизацию с мертвой точки. Если она одарена умом и совестью, она неизбежно обречена на внутреннюю трагедию. Это убеждение Достоевского проходит в различных формах через все его романы и повести.

Достоевский был убежден, что и отдельный человек, и народные массы не могут и не должны служить объектом для «манипуляции» имущих классов, а также различного рода одиночек, мнящих себя Провидением, какими бы благородными целями последние при этом, как им представляется, не руководствовались бы. Человек, возомнивший, что он имеет право свободно и безнаказанно «манипулировать» другими людьми, не считаясь с ними, с их разумом и совестью, уже тем самым оторвался от них, встал на тот путь противопоставления «одной» и «девятой» человечества, который был основой отвергавшейся Достоевским старой, классовой цивилизации, — таков, в конечном счете, в понимании романиста, глубинный смысл трагедии Раскольникова.

Под ношей бытия не устает
И не хладеет гордая душа;
Судьба ее так скоро не убьет,
А лишь взбунтует; мщением дыша
Против непобедимой, много зла
Она свершить готова, хоть могла
Составить счастье тысячи людей:
С такой душой ты бог или злодей, —

писал о трагедии мятежной, гордой и одинокой личности великий поэт, которого Достоевский считал одним из двух «демонов»-пророков русской литературы. Достоевский продолжил начатый этим и другими писателями первой половины XIX в. анализ души человека-одиночки, сжигаемого чувством неудовлетворенности и в то же время оторвавшегося от большой человеческой массы. И Достоевский показал, что в подобных «сумерках души» (или психологическом «подполье», если воспользоваться его собственным термином), может рождаться не только «рай», но и «ад», могут возникать не только светлые надежды и мечты Шиллера, Жорж Санд, Фурье и других провозвестников нового мира, но и мрачные фантазии Германна, Скупого рыцаря, Раскольникова и даже Шигалева. Это скорбное и мрачное предвидение не было ошибочным. Позднейшая история буржуазной философской мысли XX в., многочисленных блужданий анархо-индивидуалистического типа в жизни и в искусстве, нашедших свое отражение в целой галерее образов романа XX в. от героев ранних книг Кнута Гамсуна до Адриана Леверкюна в «Докторе Фаустусе» Томаса Манна, доказала обоснованность тревоги Достоевского.

И здесь — хотя это утверждение противоречит многим ходячим представлениям — есть определенная важная точка совпадения коренных убеждений Достоевского и приверженцев марксизма.

Ибо принципиально иначе понимая «народную правду», чем Достоевский, марксизм также отвергает взгляд на народ как на пассивный материал для имущих классов и различного рода одиночек, обладающих монополией на сознание и историческую инициативу. Глубочайшее уважение к народным массам, к их разуму и морали, твердое убеждение в том, что без творческого приобщения самого народа к исторической жизни невозможно «новое слово» русской и всемирной истории, было свойственно Марксу и Ленину не менее, чем Достоевскому, хотя они и решили поставленные им вопросы иначе, чем автор «Бедных людей».

Как известно, в молодые годы Маркс и Энгельс были близко связаны с братьями Бауэрами и другими радикальными младогегельянцами, с которыми они еще до революции 1848 года резко разошлись — и притом именно по вопросу о взаимоотношении личности и массы. Из «Святого семейства», первого совместного сочинения Маркса и Энгельса, вышедшего из печати в 1845 г. — в год, когда Достоевский стал писателем, мы знаем, в чем со-

стояла суть расхождения Маркса с Бауэрами. Бруно Бауэр и его единомышленники считали субъектом истории, ее единственной движущей силой радикальную интеллигенцию. Народ же фигурировал в их сочинениях в качестве «косной массы» — простого объекта для приложения сил со стороны отдельных «критически» мыслящих личностей. На полемику Маркса с «Литературной газетой» братьев Бауэр в «Святом семействе» опирался позднее Ленин в полемике с историческими теориями русских народников.

В противовес братьям Бауэрам, Маркс и Энгельс уже в «Святом семействе» обосновали мысль о том, что никакое подлинно глубокое революционное изменение мира невозможно без поднятия исторического самосознания массы и без ее превращения в активного субъекта истории. Разбирая роман Э. Сю в «Святом семействе», Маркс высмеял в лице героя романа «Парижские тайны» критически мыслящую личность, соответствующую идеалам Бауэров, которая ставит себя над «униженными и оскорбленными» и, считая их неспособными прийти себе на помощь, хочет «делать историю» за них. Позднее Маркс и Энгельс вернулись к тому же вопросу в «Немецкой идеологии», где они осмеяли претензии Макса Штирнера на роль нового Мессии, краеугольным камнем учения которого был «Единственный» (т. е. новый вариант бауэровской «критической личности»).

Таким образом, вопрос об объединении разума и морали сознательной личности и большой человеческой массы с ее нравственным миром, хранящим в себе опыт поколений, их совесть и мудрость, поставленный Достоевским, имеет свое значение также и для марксизма. Как выяснили Маркс и Ленин, дав свой ответ на вопрос, поставленный Достоевским, объединение личности и массы без ущерба для их самостоятельности и духовной свободы становится реально возможным лишь в процессе их совместного творческого участия в революционном преобразовании жизни.

После революции 1848 года Маркс и Энгельс не один раз снова и снова обращались к проблеме личности и массы, развивая каждый раз в соответствии с требованиями исторической обстановки дальше те общие выводы по этому вопросу, к которым они пришли еще до революции. Известно резко отрицательное отношение Маркса и к карлейлевскому «культу гениев», и к тактике революционеров старого, заговорщицкого типа, — таких, как Бланки, претендовавших на то, чтобы «делать» революцию за массу, без ее участия. В своих письмах к Лассалю по поводу его исторической трагедии Маркс и Энгельс отвергли взгляд автора «Зикингена», что историю призваны «делать» отдельные герои, противопоставляющие себя «косной массе». Поэтому не случайно, что, при всем несходстве исходных позиций Маркса и Достоевского в оценке нечаевщины, они совпали в беспощадной резкости ее осуждения.

Трагедия большинства социалистов и революционеров эпохи Достоевского была в том, что все они в той или иной мере всегда в конце концов возвращались на гибельный, роковой путь разрыва между личностью и массой. В противоположность этому Маркс уже в годы формирования своего учения выдвинул мысль, что идея становится силой лишь тогда, когда она овладевает массами. Но овладеть массами идея может при условии, когда они не являются для нее «материалом и средством», а наоборот — когда она соответствует их сокровенным интересам, составляет для них глубочайшую внутреннюю потребность, их живую душу, когда она побуждает их разум, творческую способность и инициативу, развязывает их скрытую энергию. Только на этой основе, как показали Маркс и Ленин, возможна та реальная встреча народа и интеллигенции, прочное единство между ними, к которому Достоевский призывал своих современников и людей будущих поколений и в котором он видел гарантию гармонического будущего человечества.

В декабре 1877 г. Достоевский писал в «Дневнике писателя» в связи со смертью Некрасова — великого поэта, с которым он вместе начинал свое литературное поприще: «В служении сердцем своим и талантом своим народу он находил все свое очищение перед самим собой. Народ был настоящею внутреннею потребностью его... в любви к нему он находил свое оправдание. Чувствами своими к народу он возвышел дух свой». И далее: «Вечное же искание... правды, вечная жажда, вечное стремление к ней свидетельствуют явно, повторяю это, о том, что его влекла к народу внутренняя потребность, потребность, высшая всего, и что, стало быть, потребность эта не может не свидетельствовать и о внутренней, всегдашней, вечной тоске его, тоске не прекращавшейся, не утолявшейся никакими хитрыми доводами соблазна, никакими парадоксами, никакими практическими оправданиями» (XII, 362). Когда Достоевский писал эти слова, он думал не только о Некрасове, но и о себе. В них — выражение той постоянной озабоченности судьбами человечества, тревоги за будущее людей, того искреннего гуманизма и демократизма, которые делают наследие Достоевского живым и сегодня для людей нашей, социалистической эпохи.